

Татьяна БУЛАТОВА

Татьяна Булатова, рисуя живые образы и ситуации, отвечает на вопросы, которые встают перед многими женщинами.

Анна Берсенева



Мама мыла раму

Татьяна Булатова
Мама мыла раму

«Автор»

2013

Булатова Т.

Мама мыла раму / Т. Булатова — «Автор», 2013

ISBN 978-5-699-60904-8

Антонина Самохвалова с отчаянным достоинством несет бремя сильной женщины. Она и коня остановит, и в горящую избу войдет, и раму помоеет. Но как же надоело бесконечно тереть эту самую раму! Как тяжело быть сильной! Как хочется обычного тихого счастья! Любви хочется! Дочь Катя уже выросла, и ей тоже хочется любви. И она уверена, что материнских ошибок не повторит. Уж у нее-то точно все будет красиво и по-настоящему. Она еще не знает, что в жизни никогда не бывает, как в кино. Ну и слава богу, что не знает, – ведь без надежды жить нельзя...

ISBN 978-5-699-60904-8

© Булатова Т., 2013

© Автор, 2013

Татьяна Булатова

Мама мыла раму

Все совпадения имен в романе случайны. Описанные события являются вымыслом автора

Я люблю рисовать лошадей и собак. В лошади у меня хорошо получается голова. Гораздо лучше, чем задние ноги. С собаками примерно та же история – рисую ровно половину: морду с высунутым языком. Очень мне нравятся колли. Морды вытянутые, лисьи. И воротник вокруг, как у Шалыпина на картине. Тоже мне, дама с собачкой! В Русском музее висит. Там, в этом зале, все – с собачками.

У всех моих знакомых есть собаки или кошки. Даже у кривоногой Пашковой! Мне их нельзя. У меня астма. Ходить на ипподром мне запретила мама.

– Да ты там сдохнешь! – сказала она. – Прямо в навозе и задохнешься.

Теперь, чтобы не задохнуться, я рисую. Да, забыла. Иногда я рисую ноги в туфлях на каблучках. Хорошо получается до колена, потом – какие-то бревна. Приходится надевать на них юбку. Правда, от этого краше ноги не становятся, а мама мне говорит:

– У тебя зубы, как у акулы (в смысле – кривые), не красавица. Будешь себя обшивать – выйдешь замуж.

Кто такого урода замуж возьмет? Неизвестно.

* * *

– Отойди от зеркала! Кому я сказала?!

Катя Самохвалова покорно выдохнула и подошла к окну. Во дворе жили собаки. В подвале – кошки. На последних особенно жаловалась тетя Шура из соседнего подъезда, обещавшая отравить эту пакость, потому что заели блохи, даже на второй этаж запрыгивают. Катя никогда не видела живую блоху. Только в книжке. И ту подкованную. А очень хотелось. Поэтому, когда тетя Шура (Санечка, называла ее мама) прибежала к Самохваловым позвонить, девочка с неприкрытым любопытством спрашивала:

– Кусают?

– Ой, кусают, Катька! Кусают так, что хоть из дома беги!

Бегать из дома в разные стороны было любимым Шуриным занятием. Среди множества маршрутов, освоенных Санечкой, излюбленных было три: через дорогу на работу, на центральный рынок и, наконец, к Самохваловым – позвонить. Но отнюдь не всегда тетя Шура была гонима желанием пообщаться с внешним миром. Самохваловский маршрут для нее представлял особую ценность, так как хозяйка телефона Антонина Ивановна, по совместительству Катина мать, служила преподавателем русского языка как иностранного в международном военном заведении, у КПП которого толпились барышни в ожидании счастливого билета за рубеж.

– У тебя – дочь, у меня – дочь, – напоминала Санечка Антонине Самохваловой.

– Да ладно тебе! – отмахивалась Антонина.

– Вот тебе и ладно... Не успеешь оглянуться, замуж пора отдавать.

– Ну, Санечка, это ты махнула!

– Поверь мне, уж я-то знаю... – таинственно провозглашала соседка и показывала глазами на Катьку.

– Иди, иди! – гнала дочь Антонина Ивановна. – Рано тебе еще об этом думать.

О чем, Катька пока не догадывалась. Значение сакраментальной фразы: «У тебя – дочь, у меня – дочь» – было ей совершенно непонятно. Это взрослому человеку, вошедшему в родительский период жизни, легко переводилось: «Мы с тобой одной крови: ты и я». Катя же Самохвалова воспринимала данный тезис как пароль, с которым в дом входили свои. «Пароль?» – «На горшке сидит король!» – «Заходите тогда, милости просим».

Всем милости просим, кроме ее подружек дворовых: даже кривоногую Пашкову и ту в мамин дом пускать было не велено. А какой от нее вред, от этой Пашковой?

Внизу Наташка Неведонская: шея вывернута, голова сбоку от тела качается, руки не слушаются. Во дворе ее за глаза паучихой называют. Ей – можно. Она умная. Но Катя ее не любит, потому что страшно: вся скрюченная.

– Бедный ребенок! – сокрушается мама, видя, как Наташка «ползет» к школе. – Не могли, что ли, дитя в специальную школу отдать?

– Зачем? – интересуется Катя. – Она же нормальная.

– Да какая же она нормальная? – возмущается Антонина Ивановна.

Но Неведонскую из квартиры не выгоняет, когда та к Катьке приходит, и даже спрашивает: «Как дела в школе?» А какие у нее могут быть дела, это понятно. На днях два здоровенных придурка зажимали ее в раздевалке, чтобы понять, «откуда у нее лапки растут». Но Наташку голыми руками не возьмешь – так вмазала, что мама не горюй. И вечером у Неведонских стоял стон и ор: это Наташка отбивалась от родителей, все время повторяя: «Это он сам! Са-а-м! Пе-е-ервый!». Кате казалось, что у нее пол под ногами трясется от сумасшедших Наташкиных воплей. Не выдержала, подошла к пианино и села на виниловый вертящийся стул.

– Вот-вот, – удовлетворенно отметила Антонина Ивановна, – нечего дурака валять. Занимайся, а то спасу от этих криков нет.

Катя Самохвалова подняла крышку инструмента и со всей силы стукнула ладонями по клавишам.

– Эй! Это ты чего? – возмутилась мать. – Специально, что ли?

– Ничего не специально, – буркнула Катька и крутнулась на стуле. – Я еще литру не выучила.

– Так выучи, – посоветовала Антонина.

– Не могу.

– А ты через не могу.

Катя Самохвалова с тоской посмотрела на мать и робко запротестовала:

– Не могу. Наташа кричит.

– А ты внимания не обращай.

– Не могу...

– Что с нее взять? Больная...

– Никакая она не больная. Она ДЦП.

– Это кто тебе сказал?

– Наташа.

– Ох уж эта Наташа! – посетовала Антонина Ивановна. – Поперек горла мне твоя Наташа.

Надо с ее матерью поговорить.

– Зачем? – полюбопытствовала Катька.

– Не твое дело, – отрезала мать и махнула рукой. – Иди вот, литру свою учи.

Катя слезла со стула и отправилась в детскую, она же по совместительству «спальня». Там стояла большая кровать, на которой мать и дочь спали вместе с того самого момента, как умер Арсений Самохвалов – Катин отец. По недомыслию своему Антонина Самохвалова говаривала:

– Эх, Катька-Катька! Раньше здесь на твоём месте папа спал... А теперь – ты.

Девочке становилось неловко. Возникало ощущение, что заняла чужое место. А еще страшно: папа не папа, все равно покойник. А покойников Катя боялась так же сильно, как возможной материнской гибели.

– Вот умру я, – обещала Антонина, – одна останешься. Ни-ко-му не нужна!

В вечном ожидании конца Катька просыпалась посреди ночи и прислушивалась, дышит ли мать. Иногда дыхание прерывалось, и тогда девочка, зажмурив глаза, тыкала в нее рукой, словно нечаянно. Антонина вздрагивала, всхрипывала, таращила глаза и по привычке приговаривала:

– Спи-спи. Давай... спи уже...

И девочка, довольная, засыпала.

«Спальня» была особым пространством в семье Самохваловых: там был Катин угол («все, как у нормальных людей – только занимайся»), шифоньер, полный добра («еще в Монголии покупала»), швейная машинка («спасительница твоя»), кровать и темная комната. Место для хождения в комнате отсутствовало. Но зато при желании, особенно если приставить к стене пустую банку и приложить к ней ухо, можно было расширить свою территорию ровно на величину аналогичной «спальни», только соседской, разумеется. Принадлежала она вездесущей тете Шуре из соседнего подъезда. Точнее, ее дочери Ириске, о судьбе которой дальновидная Санечка пыталась позаботиться уже сейчас: «У тебя – дочь, у меня – дочь».

Дружбы между девочками никак не образовывалось. Оно и понятно. Во-первых, тети-Шурина Иринка на целых аж четыре года была старше Катьки. А кому охота с малявками связываться?! Во-вторых, у Ириски играла человеческая музыка: группа «Спейс», «Миллион алых роз», «Бони М», а у Самохваловых бесконечное «А-атвари... потихо-о-о-нью кали-и-ит-ку...», ну и типа того. В-третьих, Катька оказалась владелицей подаренных курсантами из Никарагуа косметических наборов «на вырост» («в детстве только проститутки красятся»), предусмотрительно спрятанных Антониной Ивановной в неприкосновенный секретер. Санечка трижды просила соседку продать один за «приличные» деньги, но всякий раз получала отказ, мол, не только же у тебя дочь.

– Так испортятся же! – отчаивалась тетя Шура. – Пока Катька-то вырастет.

– Не испортятся, – уверяла ее Антонина, стоявшая на страже дочерней красоты, и неважно, что будущей.

Сама Антонина наборы не жаловала, предпочитая помаду «Жизель» ядовито-сиреневого перламутра и польские тени в круглых коробочках.

Четвертая причина была самая серьезная: у соседской Иринки жил говорящий попугай и вдобавок еще и рыбки. Рыбки быстро передохли, а птица осталась и якобы называла хозяйку по имени: «Иррр-риска! Ирр-риска!»

– Слышала?

Катька старательно кивала головой, отчаянно лицемеря. Ничего, кроме слов «сика», «сволочь» и «дай», она разобрать не могла. Но от этого зависть не убывала.

И даже чуть не убила Катю Самохвалову. Перепуганная Санечка вызывала «Скорую» к побагровевшей Катьке, вытаращившей глаза на птичью клетку, и умоляла ничего не говорить маме.

А как не говорить?! Соседи донесут быстрее, чем Антонина Самохвалова вернется из своего училища. Нет, рассказать, конечно, надо, но особым образом, как о подвиге ради жизни на земле.

Рассказали, в красках расписав, как несли «раненого бойца» из одного подъезда в другой, как при этом «боец хватал ртом чистейший озонированный воздух района», как сжималось при этом доброе Санечкино сердце и как хорошо, что все хорошо закончилось. О попугае не сказали ни слова.

История про подвиг не помогла.

– Сво-о-олочь ты! – обиделась Антонина Ивановна на дочь. – У тебя астма, идиотка! Сдохнуть ведь могла из-за этого сраного попугая!

Катька возражать не стала: уткнулась в подушку и заплакала то ли от обиды, то ли от радости, то ли от того, что чувствовала себя безмерно виноватой.

Вообще, чувство вины посещало младшую Самохвалову довольно часто: когда ложилась в постель на папино место, когда приходили гости, когда подруги жалели маму. И больше всего, когда случался приступ – вроде как нарушила субординацию и собралась снова занять чужое место, на этот раз мамино.

– Нет уж, подожди, – успокаивала ее Антонина, – сначала я сдохну, а потом уж и ты. А там, глядишь, и лекарство от астмы придумают...

Такой расклад Катьку не устраивал: ей хотелось, чтобы придумали завтра, а еще лучше сейчас. От невыносимости мечты накатывали рыдания.

– Я буду врачом, – заявила она матери.

– Замуж сначала выйди, – посоветовала та дочери и сердито зашелестела выкройкой нового платья.

– Это ты себе? – виновато поинтересовалась Катька.

– Тебе! Мне-то зачем? – по-военному четко произнесла Антонина Самохвалова и неожиданно всхлипнула.

Услышав материнский всхлип, девочка отчаянно заревела.

Ревели в два голоса, каждая – со своей интонацией. Слезы лились обильно, Катька жмурилась, шмыгала носом, мать песенно причитала. Потом разом остановились, выдохнули и замолчали.

– Чай, что ли, ставить? – в нос протрубила Антонина.

– Ставь, – разрешила Катька.

Чаевничали на кухне за столом-книжкой, но зато с хрустальными розетками и витыми позолоченными ложками. Варенье в вазочке янтарно искрилось.

Антонина Ивановна заполнила розетку, протянула ее дочери и ласково проговорила:

– На-а-а, страшенькая моя.

«Стра-а-ашненькая», – подумала Катя и оглянулась на себя в зеркало. И, слава богу, в нем, кроме распахнутой в зал двери, ничего не было видно.

* * *

Кто заставлял меня ее рожать? Сыну уже семнадцать стукнуло. Школу окончил. А Сеня все «роди да роди», «роди да роди». Вот и родила. Тут он и заболел. Восемь было Катерине, когда Сеня умер. И слава богу. Ведь ничего уже не понимал. Ни-че-го-шень-ки! Меня только мамой звал: «Ма-ма! Ма-ма». Катьку увидит – плачет. И все время: «Уйди. Уйди». Та обижается. А я что сделаю? Не в психушку же его сдавать. Жалко. А он как дите малое. Катя его стыдилась... Господи, чего уж теперь? Для себя я ее родила. Для себя! Пусть в старости опорой мне будет...

– Да-а-а, Тонечка. Кто ж вот знал? Кто ж вот знал, что так получится? – причитала за поминальным столом Главная Подруга Семьи Ева Соломоновна Шенкель, закатывая глаза под насурьмленные брови.

Катя перевела глаза на мать. Та оправила на груди платье, взбила прическу, лукаво улыбнулась Главной Подруге и строго посмотрела на дочь – Катя съежилась и уткнулась в чашку.

– Пьешь?

Девочка виновато закивала головкой-луковкой.

– Вот и пей.

Луковка снова кивнула.

– Пей. И иди музыкой занимайся. Вообще обленилась. За целый день к инструменту не подошла.

Катя залилась краской и отодвинула чашку в сторону.

– Разольешь! – прикрикнула Антонина, после чего девочка старательно поправила чашку и вынула из нее ложку.

– Иди занимайся. Уроки сделала?

Катя кивнула.

– Форму погладила?

Еще кивок.

– Трусы? Чулки?

– Ма-а-ама... – смущенно пискнула дочь.

– Что «ма-а-ма»? – с искренним облегчением разразилась Антонина Ивановна. – Что-о-о-о «ма-а-а-ма»?

– Ничего, – ответила Катя и встала со стула.

– Ты... на мать... *так...* не смотри! – старательно, как на приеме у логопеда, выговаривая все слоги, отчеканила Антонина и взяла паузу. – И не огрызайся!

Катя, как стойкий оловянный солдатик, повернулась на одной ноге и понуро направилась в комнату, в присутствии гостей почтительно называвшуюся «детская».

– И не дерзи матери! – прикрикнула, распаяясь, старшая Самохвалова в луковичный затылок. – Видала, Ева?!

Ева Соломоновна старательно сложила блестящие после жирной самохваловской еды губы и укоризненно помотала головой. Если по совести, то ничего из ряда вон выходящего в Катином поведении за столом она не заметила: ни вызова, ни дерзости. Мало того, ее большое еврейское сердце бухало в груди от зависти. Ева была бездетна. Ей бы такую луковичку за столом! Она бы целовала ее в затылок.

Но существовала еще и многолетняя дружба с Антониной Самохваловой, и эта дружба требовала соблюдения приличий. Поэтому Ева Соломоновна старалась изо всех сил: поджимала губы, если того требовала ситуация, искренне возмущалась и даже давала советы дидактического характера. Потом – мучилась, потому что похороненное заживо материнство Евочки Шенкель требовало сатисфакции.

Для этого Главная Подруга Семьи откладывала юбилейные железные рубли.

– Возьми, Котя, монетку.

– Не надо, – скорее по привычке отказывалась девочка.

– Это от тети Евы. На память.

Катя искала глазами мать. Ева Соломоновна перехватывала взгляд девочки и шепотом говорила:

– Не надо никому говорить. Это тебе, бат.

Катя покрывалась пятнами и прятала монетку в ящик письменного стола. Тетя Ева удовлетворенно поджимала губы и робко гладила девочку по голове, проговаривая про себя: «Бат, бат, бат, бат...» «Бат» по-еврейски – дочка. Главная Подруга Семьи хитрила: никому ж не понятно, только ей одной. Зато по справедливости! А что, разве она не мать? Подумаешь, без детей. Своих растить – дело нехитрое. Попробуй чужого вынянчить и своим не назвать! Такое только Еве Соломоновне под силу: оттого и появилось это зашифрованное «бат». И никто не спросил, что же оно значит. Бат так бат. Ева так Ева!

Когда в поле зрения появлялась Антонина, от заговора не оставалось и следа. Женщины отправлялись накрывать на стол, Катя наблюдала за ними из «детской».

Проводив подругу, мать лениво спрашивала:

– Ева рубль дала?

– Дала.

– Дай сюда.

Катя выдвигала ящик, доставала оттуда холодный увесистый кружочек и протягивала матери. Антонина придирчиво рассматривала подарок, вглядываясь в пущенную по краю рубля надпись:

– Шкатулку принеси!

Катя открывала секретер, доставала массивную шкатулку ручной работы и протягивала матери. Девочке все время хотелось встряхнуть заветный ларчик, чтобы ощутить, как он содрогается от перекатывающихся внутри монет, но она побаивалась и поэтому обращалась с ним как с драгоценностью.

Антонина открывала крышку, окидывала взглядом рассыпавшиеся по дну металлические рубли, на которых то взмывала вверх Родина-мать, то парила голубка, то скакал Медный всадник, и аккуратно выкладывала еще одну теплую от рук монету.

– Можно посмотреть? – робко спрашивала Катя.

– Зачем? – недоумевала Антонина Ивановна. – Я умру – тебе все достанется. Подожди пока...

Девочка согласна была ждать вечно. И шкатулка исчезала во мраке секретера.

– Ева! Что с тобой? – не дождалась ответа Антонина Ивановна, глядя на плотно сомкнутые губы подруги.

– Да-а-а, Тонечка, – наконец-то Ева Соломоновна выдавила из себя начало дежурной фразы. – Нелегко тебе, дорогая.

– Нелегко, – подтвердила Самохвалова и грузно опустилась на стул.

Ева почувствовала себя предательницей и решила поменять ставший традиционным курс в разговоре:

– Но зато она у тебя такая умница: хорошо учится, музицирует, шьет, вяжет...

– Вя-я-яжет, – согласилась Антонина. – А что толку-то? Ты на лицо ее посмотри! Вся в Сенью!

Ева Соломоновна почтительно подняла глаза на портрет бывшего хозяина дома, водруженный на крышку пианино: ровно посередине, между погонями с полковничьими звездами, на тоненькой шее восседала огромная абсолютно лысая голова, зажатая с двух сторон мясистыми ушами. При близком рассмотрении уши казались войлочными – сверху они были покрыты тончайшим пухом. На голове имелись нос, полные губы и очки с толстыми стеклами, за которыми угадывались полуприкрытые глаза.

– Ну почему же в Сенью? – не согласилась Главная Подруга Семьи Самохваловых. – Губы вот, например, совсем не его.

– Губы не его. Губы мои: не нарисуешь – не увидишь.

– И глаза не Сенины...

– Сенины! Такие же бесцветные и выпуклые.

– Ну где же?

– Точно я тебе говорю!

– А очки? – стояла на своем Ева Соломоновна.

– А что очки? Все уродство ей свое передал. И очки!

– Так нету же!

– Как же нету?! При тебе не надевает – стесняется.

– Ты не говорила, – растерялась Главная Подруга.

– А чего говорить-то?! Чего говорить? Все передал. Все! Грех обижаться на покойника, а на него я обижена. Ничего после себя не оставил!

– Как же не оставил! – задохнулась Ева Соломоновна. – А Котька?!

– Разве только Котька, – продолжала сердиться Самохвалова, словно запамятавав, что, кроме Котьки, Сеня еще оставил ей сына, квартиру, полковничью пенсию до истечения Каткиных восемнадцати лет, а также доброжелательное отношение офицеров училища связи в городе N.

Ева, обнаружившая, что дверь в «детскую» все это время оставалась приоткрытой, почувствовала себя виноватой и в очередной раз попыталась спасти положение:

– Нет, Тоня, – строго произнесла она. – Ты не права. Нельзя быть такой неблагодарной.

– Неблагодарной? – возмутилась Антонина. – Неблагодарной?

– Не гневи бога, Тоня. У тебя – двое детей. Это такое счастье! – выпалила бездетная Главная Подруга.

– Счастье? – не поверила своим ушам Самохвалова. – Это счастье? А ты бы спросила меня, что мне нужно было делать с этим счастьем, когда из-под Сени пришлось горшки выносить! На себе его тягать? Катька мне: «Мама, поиграй со мной». А я ей: «Не до тебя! Папа обкакался». Это счастье?! – в который раз Антонина Ивановна задала подруге риторический вопрос.

Ева Шенкель дипломатично промолчала, а потом не выдержала и снова ввязалась в бой:

– И все-таки, Тоня, так нельзя. Ты же сама приняла решение рожать.

– С чего это ты взяла, Ева? Это Сеня меня упробил: роди и роди. А я его, дура, послушала. Пожалела. Уж очень девочку он хотел. Лучше бы аборт сделала... А потом уж думаю: ну и хорошо, что не сделала. Все-таки не одна. Будет кому воды в старости подать.

Про аборт Катя Самохвалова слышала неоднократно: Антонина Ивановна в порыве откровенности периодически называла дочери разные цифры – то ли шесть, то ли пять, то ли двадцать пять... Девочка давно сбилась со счета. В материнских историях ее больше интересовали эпизоды «возвращения с того света». Антонина Самохвалова не скупилась на подробности и бойко рассказывала входящей в подростковый возраст дочери о трагических последствиях абортов в виде кровотечений и воспалений. При этом вид рассказчицы вызывал абсолютное доверие к жизни: разгоряченная, румяная, с лукавыми огоньками в глазах... Неудивительно, что слово «аборт» в устах матери Катька воспринимала как синоним слова «приключение». Оно, разумеется, носило тайный характер, но от этого своей привлекательности не теряло. Особенно девочке нравились истории о возвращении истерзанной матери домой и об ее встрече с мужем, то есть с Сеней, то есть отцом Катьки Самохваловой.

– Бе-е-е-едная моя, – горевал Сеня, глядя на обескровленное лицо жены. – Ну как же так?! – разводил он руками.

– Вот так... – смиренно опускала глаза Антонина.

– То-о-о-онечка, – обнимал Сеня крупное тело жены.

– Э-эх! – похлопывала она по спине супруга.

Похлопывала-похлопывала, а потом снова отправлялась в абортарий. «Абортарий» для Катьки звучало как «зоопарк».

Историй у Антонины было множество, но все они развивались по одному и тому же сценарию. В результате Катька перестала различать нюансы и объединила все в одну.

Начиналась история дежурной фразой: «От этих мужиков один вред». Антонина произносила этот лозунг так радостно, что у Катьки щипало в носу, словно после газировки, и становилось отчаянно весело. Мужики не казались ей страшными персонажами. Скорее, наоборот. Они были как домовые. Их не видно, а в доме – бардак.

Следующий фрагмент обозначался ностальгическим «Вот помню я...» и заканчивался трагическим «Вот я и думаю: видно, смерть моя пришла». На этом месте Катька пугалась и тревожно вглядывалась в материнские черты, пытаясь обнаружить на них печать смерти. Это был самый сложный момент, потому что смерть выглядела как-то уж очень привлекательно: голубой перламутр на веках и розовый – на губах.

Здесь Антонина вспоминала о воспитательном характере беседы с дочерью, убирала всю лирику и превращалась в орущий санбюллетень гинекологии: страшные последствия аборта – кровотечения, закупорка сосудов, перитонит и смерть.

Перебрав все возможные осложнения, Самохвалова пугалась сама и быстро меняла образ, превращаясь по отношению к дочери в старшую подругу с большим жизненным опытом: «Не давай поцелуя без любви», «Сперва сладко – потом гадко», «Сорок пять – баба ягодка опять», «Сучка не захочет – кобель не вскочит», «Вам, уроды, наши лучшие годы», «Это цветочки, а ягодки потом».

При слове «ягодки» Тоня Самохвалова лукаво шурилась, а потом дергала Катю за что придется и грозила пальцем: «Не будешь мать слушать – в подоле принесешь!»

– Поняла? – уточняла заботливая мамаша.

Катя утвердительно кивала головой – наступало время заключительного эпизода.

– Вот если бы жив был Сеня...

Глаза Антонины увлажнились, а Катя про себя добавляла: «То наша жизнь была бы сплошной аборт». В смысле: МАМА+ПАПА=ЛЮБОВЬ.

О том, что такое аборт на самом деле, Катя узнала не сразу. На помощь пришла кривоногая Пашкова, не по годам осведомленная в особенностях женской физиологии. Свою версию она проиллюстрировала, опираясь на «личный» опыт.

– Аборт, – объяснила она, – это когда тебя внизу разрезают, чтобы вытащить ребенка.

– Зачем? – изумилась юная Самохвалова.

– Затем! Чтоб нищету не плодить! Вот мамка моя сказала: ты у меня есть и больше никого не надо.

– А ты?

– А что я? Одного рожу – и харе.

Катя смотрела на тринадцатилетнюю одноклассницу и не верила своим ушам.

Сообразительная Пашкова быстро расставила все по своим местам:

– Да что ты вылупилась? Не сейчас же. Потом. Когда женюсь.

Пионерка Самохвалова находилась под впечатлением несколько дней, пока на помощь вновь не явился злой ангел в лице искусенной Пашковой.

– На... – протянула она однокласснице увесистый том.

– Это что?

– То! Дома посмотришь...

Книга называлась «Справочник практического врача» и была снабжена обстоятельными иллюстрациями. Катя Самохвалова внимательно проштудировала раздел «Гинекология» и к вечеру составила довольно полное представление по интересующему вопросу. Оставался один непроясненный момент: зачем? Справочник на него ответа не давал, и его пришлось искать самостоятельно. В течение недели дотошная Самохвалова легко могла бы давать консультации менее догадливым сверстницам. Достойными внимания Катя сочла две причины: первая – женщина больна, вторая – женщина не хочет рожать ребенка, потому что не любит детей. Третьего было не дано.

Проецируя собственные выводы на многочисленные материнские истории, Катя вспомнила неоднократно повторяющийся эпизод, который обычно венчала одна и та же реплика врача: «Ну что же, уважаемая Антонина Ивановна! Если бы не ваше богатырское (лошадиное, крепкое, прекрасное, удивительное) здоровье, с вами бы я сейчас уже не разговаривал». «Значит, не больна», – решила девочка и пригорюнилась. Оказывается, ее мать не любила детей. Но ведь это других детей! Не ее. «Не меня!» – уговаривала себя Катерина.

Сегодня все стало на свои места. «Значит, и МЕНЯ», – догадалась Катя Самохвалова и заткнула уши с такой силой, что в голове загудело. А перед глазами трепыхалась мамина

кружка, на которой золотом горела витиеватая надпись «Уважаемой Антонине Ивановне в честь ее пятидесятилетия от коллег и друзей».

– Самое то для воды! – решила девочка все-таки напоить мать в старости.

* * *

Когда он приходит, мама меня хвалит. Дневник зачем-то показывает и просит играть на пианино. Он слушает, а потом в ладоши хлопает. Как на концерте. Дурак, что ли? Кто дома в ладоши хлопает? И в лоб целует. А у него изо рта пахнет. Противно. Маме приносит три звездочки всегда. На праздники – конфеты, коньяк и деньги. Их мама потом считает и говорит: «Жмот». Ева говорит: «Жених». Она что, с ума сошла? Какой жених? Она же старая уже, ей пятьдесят три года! Тоже мне, невеста!

– Как тебя звать-то? Катя? Хорошее имя. А меня вот Петр Алексеевич. Друг я. Твоей мамы. Да. Мама еще не рассказывала? Нет? Значит, не успела еще...

Катя молчала.

– Точно не говорила? – хихикал Солодовников.

Девочка внимательно рассматривала ковровый узор под ногами гостя, пока не обнаружила, что носки на ногах были разные. Оба черные, но один – гладкий, а другой – в рубчик.

– Ты чего ж, Антонина Ивановна, не говорила ничего? – продолжал тараторить Петр Алексеевич, пока старшая Самохвалова не усадила его на стул.

«Красный какой! Глаза узкие. И лысый почти. Рубашка в пятнах...» – «сканировала» Катя развалившегося на стуле «мамино друга».

– Господи! Петр Алексеич, в чем это рубашка у тебя? Пятна какие-то желтые! Яичницу, что ли, себе на грудь опрокинул?

– Да уж, Антонина Ивановна, без женской заботы совсем запаршивел!

Катя взглянула на «запаршивевшего» гостя и тут же уткнулась в тарелку. Девочке стало неловко. Между ним и матерью тянулись нити – вязкие до того, что лоб Петра Алексеевича покрылся потом, а грудь Антонины Ивановны – пунцовыми пятнами.

– Пробуйте, Петр Алексеич, бу-у-зы, – гостеприимно предлагала Самохвалова.

– Че-е-его? – напугался Солодовников, отчего с маринованного гриба, наколотого на вилку, слетел лук и благополучно приземлился на рубашку.

– Не бойтесь, – уговаривала Антонина. – Это по-нашему манты.

– Ма-а-анты? – удивлялся Петр Алексеевич. – Надо же!

– Ма-а-анты, – прикрыла глаза хозяйка. – Самые что ни на есть настоящие ма-а-анты – бу-у-узы. Монгольское национальное блюдо.

– Монгольское? – обрадовался Солодовников. – Национальное? Откуда же?

– Ну как откуда? – притворно изумилась Антонина Ивановна. – Я разве же вам не рассказывала?

– Мне-е-е? – закокетничал гость. – Мне-е-е – нет. Это, может, вы кому другому рассказывали... Ну-ка, Катюша, кому мама про бозы рассказывала?

– Про бузы, – поправила девочка.

– Про бузы, – исправился Петр Алексеевич.

– Всем, – многообещающе ответила Катя и засунула в рот кусок сыра.

– Сеня в Монголии служил, еще Катюшки не было, – начала издалека свой рассказ Антонина.

– Надо ж, – расстроился Петр Алексеевич. – В Монголии?! А я вот дальше Москвы никуда не ездил.

«Оно и видно», – подумала Катя и потянулась к коробке конфет.

– Ты куда? – строго спросила ее мать и подвинула «Птичье молоко» к себе. – Давно не чесалась?

– Я одну...

Солодовников снова расстроился:

– Ну разреши нам, Тонечка Ивановна! Правда, Катюша?

– Не надо, – насупилась девочка и укоризненно посмотрела на мать.

Над столом повисло напряжение. Гость заерзал. Катя посмотрела на него сбоку и отметила, что в багровую морщинистую шею впился несвежий воротник заляпанной желтыми пятнами рубашки.

«Шея, как у черепахи. И голова, как у черепахи. Панциря только не хватает». Катьке стало противно от столь близкого соседства, и она, стараясь делать это незаметно, передвинула стул.

От Антонины Ивановны этот маневр скрыть не удалось:

– Ты куда? – строго посмотрела она на дочь.

– Я все.

– Ты, может, и все...

– Можно я пойду?

Катя встала из-за стола с елейным выражением лица, готовая присесть в реверансе. Обычно это срабатывало. Но не в этот раз, похоже, Антонина была чем-то очень недовольна. Оставалось выяснить чем.

– Побудь с нами, Катюша, – вклинился в ритуальный диалог матери и дочери Петр Алексеевич Солодовников.

– Мне уроки делать надо...

– А может, – не отступал Петр Алексеевич, – что-нибудь сыграешь?

– Потом...

– Это когда потом? – грозно поинтересовалась Антонина Ивановна.

– Ну... потом...

– Потом – суп с котом, – догадалась мать и кивнула головой в сторону пианино.

Гостя надо было уважить.

Катя Самохвалова одернула платье, вздернула вверх подбородок и торжественно, как на концерте в детской музыкальной школе, произнесла:

– Слова Гёте. Музыка Бетховена. «Сурок».

– Су-у-урок? – снова изумился Петр Алексеевич и замер в предвкушении встречи с прекрасным.

Если бы Катин преподаватель Инна Феоктистовна Дерябина в этот момент присутствовала в квартире Самохваловых, она бы ушла из профессии раз и навсегда. Ее любимая ученица Катенька барабанила по клавишам, не заботясь о благозвучии, и, раскачиваясь, подвывала.

Песня про сурка Петру Алексеевичу Солодовникову пришлась по душе. Он плотно сжал губы и мелко-мелко затряс головой, всем своим видом показывая, как тронут искусством.

– Вот, значит... – удивлялся он. – Сурок всегда со мною. И сыт я... И рад я... А гляди, без сурка никуда!

Катя, первый раз услышав подобную интерпретацию, надо признаться, несколько оторопела: было что-то в этом дядьке располагающее. Из-за сурка вот растрогался. Удивляется всему. Бузы не ел никогда. Рубашка – в пятнах. И только девочка была готова пересмотреть свое отношение к маминому приятелю, как он все испортил:

– А «Камыш» можешь сыграть?

– Какой камыш? – не поняла Антонина Ивановна.

– Шуме-е-е-ел камы-ы-ыш, – затянул Солодовников. – Дерэ-э-эвья гну-у-у-лис...

– Да вы что, Петр Алексеич! – возмутилась Самохвалова. – Разве это детская песня?

– Если искусство высокое, то разницы никакой нет: детская – не детская. Садись, Катерина, – огорченно махнул рукой истинный ценитель музыки. – Ничего-то ты не умеешь!

«Ты много умеешь!» – не сдавалась младшая Самохвалова, а сама не сводила глаз с матери. Как отреагирует?

Да никак. Промолчала Антонина Ивановна, словно и не заметила. Во всяком случае, так Кате показалось.

– Можно мне идти? – снова пробубнила исполнительница классической музыки.

– Иди, – разрешила мать.

– Иди и... приходи, – радостно добавил Солодовников. – И мы с тобой споем. Правда, споем, Тонечка Ивановна?

Тонечка промолчала. Петр Алексеевич не унимался:

– Ну что ты? Что ты, Тоня?

– Тихо ты! – шикнула на него хозяйка дома и показала глазами на дверь в «спальню».

Солодовников торопливо закачал головой, старательно изображая согласие. Весь его вид показывал: «не буду, не буду».

– Ты что? Не сказала? – вдруг снова удивился Петр Алексеевич.

– Не время еще!

– А когда?

– Скажу, когда надо будет.

Солодовников обиделся. Решил уйти. Для этого вытер салфеткой губы и по-светски произнес:

– Ну-с, уважаемые гости, не надоели ли вам хозяева?

Антонина Ивановна уговаривать гостя не стала и решительно встала из-за стола, всем своим видом показывая, что визит подошел к концу.

– Что ж-ж-ж-ж-ж, – зажужжал Петр Алексеевич. – Чай дома попьем. В гостях хорошо, а дома, брат, лучше.

«Вот и иди!» – злорадствовала из своей «детской спальни» Катя. – Пой свой камыш!»

– Прощевай, Катюш! – выкрикнул из микроскопической прихожей Петр Алексеевич, пытаясь натянуть на себя дерматиновое пальто.

Видя неуклюжие потуги гостя, Антонина вдруг загрустила и решила сгладить неловкость.

– Подожди, Петр Алексеич, дай я тебе помогу.

Солодовников от счастья воспрял духом и выкатил грудь, как пингвин, надвигающийся на полярника. Антонина Ивановна приблизилась и любовно поправила на своем друге кашне.

– Спасибо, Тоня, – разомлел Петр Алексеевич.

– Да что ты! – кокетливо заулыбалась вдова и заботливо огладила стоящие колом рукава.

Солодовников заметался: схватил Самохвалову за руки, притянул к себе. Да с такой силой, которая в нем и не угадывалась вовсе. Судя по всему, Петр Алексеевич был по-мужски голоден. И Антонина его не оттолкнула.

Катя, услышав возню в прихожей, выползла из своего убежища и тут же вползла обратно, предусмотрительно приоткрыв дверь пошире. Боже мой! Ее мать целовалась с черепахой в пальто. При этом они сопели и чавкали.

Склонившись над письменным столом, девочка внимательно наблюдала за ними, испытывая странное волнение. И природа его не была ей понятна: то ли противно, то ли смешно. Катя подумала и решила: скорее противно. Признавшись себе в этом, она вскочила со своего места и захлопнула дверь с такой силой, что зазвенела висящая над ней чеканка, изображающая двух птиц, сидящих на ветке. Исполнителем сего произведения искусства был, очевидно, кустарь, не очень-то заботящийся о правдоподобии. Целующиеся пернатые вполне могли быть и голубями, и куропатками, и кем угодно. Эстетической ценности эта чеканка не представляла, но висела над дверью потому, что когда-то ее туда повесил сам Арсений Самохвалов.

Через секунду в квартире хлопнула входная дверь. «Ушел!» – догадалась Катька. И выглянула в окно. У подъезда стоял Петр Алексеевич Солодовников в дерматиновом пальто и искал глазами окна возлюбленной. Правда, почему-то не в той стороне. На всякий случай Катерина присела, прижавшись щекой к холодной батарее. Чугун, покрытый многочисленными слоями масляной краски, царапал нежную кожу девочки, пока еще не тронутую отметками подросткового периода. И вся Катька, в отличие от одноклассниц, как-то задержалась в своем женском развитии. Вот, например, Пашкова, та самая, кривоногая, уже имела пупырчатый лоб, тщательно маскируемый челкой, изнурительные регулы и капроновые колготки, видимо, позаимствованные у матери, а потому штопаные-перештопаные. Катина мать колготки не признавала. В семье Самохваловых предпочитали чулки: это считалось женственным и элегантным. К тому же именно такой женский образ был дорог ныне покойному главе семейства. И в этом плане Антонина Ивановна свято чтит традиции и дочь к этому приучала.

У матери был атласный розовый пояс, с растянувшимися резинками и бело-желтыми присосками. Застегивался он почти под грудью на миллион розовых пуговок. Его конструкцию старшая Самохвалова особенно ценила, так как пояс обладал сверхмаскирующими способностями («И брюха не видно»). Зато были видны мамины ноги, визуально разрезанные верхним краем чулка на две части. Непропорционально худые по отношению к выдающейся груди и округлому животу, от стопы до колена они напоминали говяжьи маталыги. Дальше шла голая, не укрытая чулком часть. По мнению Катьки, выглядела она лишней, а вот с позиции Антонины Ивановны являла собой особенно ценный фрагмент конечности. О деталях искушенная Самохвалова умалчивала.

– Мерзнет только, сволочь! – сокрушалась Антонина в холодное время года.

Но и здесь находился выход в виде розовых с начесом панталон. Эта часть материнского гардероба Катьке была особенно несимпатична – во многом потому, что для нее самой были приготовлены такие же, только голубые, в цвет ее поясу.

Но если преданность панталонам со стороны старшей Самохваловой была делом многолетней привычки, то у дочери она носила конъюнктурный характер. Попробуй, например, не надень зимой эти дурацкие штаны! Мать в школу явится и с собой их принесет, а еще лучше через кого-нибудь передаст. Ладно, если через техничку или одноклассниц, хуже, если через Ильдара с пятого этажа. А он тоже не промах, обязательно пакет развернет и на себя примерит.

С чулками – тоже не сахар-рафинад. Катьке покупали исключительно хлопчатобумажные чулки двух оттенков – беж и говно. Не имея никаких пластичных свойств, они топорщились на коленках пузырями, поэтому для блезиру их приходилось постоянно перестегивать.

О странностях Катерины Самохваловой в классе ходили легенды. Возникновению их немало поспособствовала та самая кривоногая Пашкова, которая для Кати выступала проводником в мир взрослых. Поинтересовавшись у Самохваловой, почему, мол, мать колготки тебе не купит, и не услышав внятного ответа, Пашкова пришла к грустному выводу о скромном материальном положении подруги и предложила скинуться по полтиннику, чтобы купить Катьке колготки. Самохвалова принять подарок гордо отказалась, чему Пашкова была безумно рада: «Не хочешь – как хочешь! Было бы предложено. В хозяйстве сгодится!»

Отказаться-то Катерина отказалась, но в душе затаила тяжелую зависть ко всем обладательницам синтетических колготок. Мерзкое чувство в груди вызывало астматический синдром и не давало спокойно дышать.

Материнские увещания по поводу женственности и элегантности, практичности, гигиеничности, наконец, экономии окончательно утратили свою силу – и Катька решила. Она сделала колготки своими руками, пришив капроновые чулки к трусам. Результат превзошел все ожидания! Можно было нагибаться, кружиться, класть ногу на ногу, не боясь позора. Можно было смело подниматься по лестнице вверх! Поднимать руки! И даже перелезть через школь-

ный забор. Ну и потом, вдруг задерут юбку? Да на здоровье, сколько угодно, ликовала Катерина, поверившая в собственную полноценность.

Владела она этой полноценностью ровно три дня, пока Антонина Ивановна не надумала произвести генеральную уборку в квартире, во время которой и обнаружила под кроватью в спальне какую-то голубую тряпицу. При близком рассмотрении голубая тряпица оказалась дочерним поясом для чулок. Самохвалова задумалась и застыла с вещдоком в руках, бросив швабру рядом с кроватью. Генеральная уборка в спальне была временно приостановлена.

Вся сила боевой женщины ушла в мозг. Старательно размышляя над природой отмеченного явления, Антонина переместилась в зал, прилегла на тахту и вскоре задремала.

Вернувшись из школы Катерина застала дом непривычно тихим: такое бывало, только когда мать решалась болеть, потому что даже во время сна Антонина Ивановна объявляла о своем присутствии громким храпом. Сегодня в квартире правила бал тишина.

– Ма-а-м, – с порога затянула Катька. – Ты до-о-о-ма?

Ответа не последовало. Девочка посмотрела на вешалку и обнаружила материнскую экипировку, на полке стояли ее аккуратные ботики (югославские, между прочим).

– Ма-а-ам, – повторила попытку Катерина, причем с таким же результатом.

Всерьез обеспокоившись, младшая Самохвалова заглянула в комнату и обнаружила мать возлежащей на тахте, застланной клетчатым пледом. Сбоку Антонина напоминала горную грядку; особенно выделялись четыре вершины – голова, покрытая кудрями, грудь размерами с Эверест и торчащие вверх два больших пальца.

– Ма-а-а-ам... – прошептала Катька, подозревая самое страшное.

Антонина с трудом приоткрыла глаза и посмотрела на растерявшуюся дочь взором уходящего в мир иной.

– Подойди, – выдавила она тусклым голосом.

У девочки пересохло во рту, потому что вся влага устремилась к глазам, расширившимся от ужаса.

– Ма-а-ам, – Катька была готова разрыдаться.

Мать протянула к ней руку – и вдруг резко, что обычно не свойственно умирающим, засунула ее дочери под юбку и ощупала Катькины трусы точными пальцами вертухая.

– Это что? – взвизгнула Самохвалова и подскочила на тахте с удивительной резвостью.

– Чулки, – честно призналась дочь.

– Покажи, – скомандовала учитель русского языка как иностранного.

Катька покорно задрала юбку, продемонстрировав продукт собственной догадливости.

– Кто разрешил? – зашипела Антонина.

– Так удобно, – поделилась девочка своим открытием.

– А ну, снимай!

Катерина повиновалась и через минуту протянула матери две пустые капроновые оболочки, еще хранившие тепло ног. Самохвалова брезгливо поднесла замороженную красоту к глазам, а потом размахнулась и начала хлестать дочь по чему попало. Катька втянула голову в плечи, вывернув их вперед, и зажмурилась.

Антонина Ивановна, видя полную покорность дочери, быстро утратила энтузиазм и горой обрушилась на тахту.

– Ну что-о-о-о ты за человек?! – задала женщина риторический вопрос.

Катька, подобно сурикатам в пустыне, стояла не шелохнувшись. Голубые навывкате глаза смотрели сквозь стену, украшенную немецким дивандеком.

– Ну что-о-о-о ты за человек за такой, Катя? Ну почему ты всегда недовольна? Все тебе не нравится?

Катерина категорически отказывалась вступать в диалог и продолжала сверлить взглядом дырку в дивандеке.

– Вот что ты молчишь, спрашивается? Ну отлупила я тебя! И что?!

Судя по Катиной реакции затяжного молчания, видимо, ничего. То ли все равно, то ли так уж оскорбительно, что пора в детдом проситься. Антонина словно читала дочерние мысли:

– А если бы ты в детдоме жила? Думаешь, там только по головке гладят? Нет, моя дорогая, там по головке не гладят! – рявкнула Антонина Ивановна со знанием дела. – Там, дорогая моя, не только по головке не гладят, там куска масла на хлеб не допросишься. А ты на маму свою обижаешься, что нашла! Вот и выбирай, – решила завершить Самохвалова свою пламенную речь. – Или я, или детдом!

«Неизвестно, что лучше!» – подумала про себя Катя, но глаз не опустила.

– А может, – грустно произнесла Антонина Ивановна, – и выбирать не придется... Ишемия – это дело такое... Есть мама – и нет мамы. Кто тогда тебя лупить будет? На хрен ты никому, кроме меня, не нужна! А туда же, молодогвардеец. Молчит она! Мать бойкотирует. Обиделась. А ну, иди к себе, неблагодарная! – приказала Самохвалова и швырнула в дочь рукотворными колготками.

Катерина повернулась на сто восемьдесят градусов и снова замерла в ожидании упреков.

– Иди, я сказала, – с интонацией невысказанного благородства проронила Антонина Ивановна. – Иди... И не забудь на него посмотреть. На отца своего – пусть тебе будет стыдно, Катя Самохвалова.

«А тебе? Не стыдно? – размышляла сидевшая у багарей девочка. – Тебе не стыдно с этой черепахой целоваться? Это в пятьдесят три-то года!»

В «пятьдесят три-то года» Антонине Ивановне Самохваловой целоваться с мужчиной было не просто не стыдно, а приятно и даже жизненно необходимо.

– Для здоровья! – объясняла она Еве свое постоянное желание нравиться и флиртовать.

Ева от комментариев воздерживалась: обо всем, что приносило удовольствие близкой подруге, она могла только догадываться. А вот Санечка, она же тетя Шура, соседку поддерживала и даже предлагала забрать Катю на пару часиков. И Антонина была бы рада согласиться, если бы не этот злосчастный попугай, от которого Катя начинала свистеть, кашлять, а потом складывалась вдвое, стараясь помочь себе выдохнуть застрявший где-то глубоко внутри воздух.

Во избежание этих приступов Антонина Ивановна не просто ввела запрет на живность в доме, но и возвела влажную уборку в ранг ежедневного ритуала. В квартире трудно было обнаружить места, которых не касалась бы рука матери, сжимающая влажную тряпку. Но при желании – можно. Например, о ребристом радиаторе Антонина частенько забывала, поэтому пыль в его отсеках утрамбовывалась годами. Но, судя по всему, в данный момент она не мешала Кате Самохваловой дышать ровно и спокойно, потому что та размышляла над волнующим ее вопросом странных взаимоотношений мужчин и женщин. Впрочем, эту черепаху в рубашке сложно было назвать мужчиной. Да и женщина была не женщиной, а МАМОЙ.

* * *

Подумаешь, пятьдесят три! Кто-то и в восемнадцать, как в пятьдесят три. Теперь каждый год как десять. И летят еще, заразы. Что жила, что не жила... Сеня умер, Борька – отрезанный ломоть. Я ему зачем? Кто о матери-то помнит? Катя вырастет, замуж выйдет – пока, мама, скажет и упорхнет. А я с кем? С кем я-то останусь?

А что я? Катке ведь тоже отец нужен! Нужен? Нужен. Пусть будет. Школу окончит, аттестат получит, а в зале – кто? Мама с папой. Ну не нравится он ей. Так она его не знает. Отмоем, причешем, нарядим – не стыдно будет людям показать. Я что? Девка? По чужим кроватям шастать?!

– Что ты все на Катьку киваешь? Выросла уж твоя Катька! – горячилась Татьяна Александрова, буквально наскაკивая на Антонину, в последнее время задумчивую и молчаливую. – Поживи же ты немного для себя!

Самохвалова нехотя подняла голову. В преподавательской, кроме них двоих, никого не было – шли занятия.

– То-о-о-ня! – коршуном кружила Адрова над крупным телом опечаленной подруги. – Ты на себя посмотри!

Антонина Ивановна послушно посмотрела на себя в зеркало, висевшее над полкой с журналами.

– Ну-у-у-у...

– Что «ну-у-у-у»? – передразнила коллегу Самохвалова.

– А то «ну-у-у-у»! Тебе сколько?

– Пятьдесят три.

– А Катьке сколько?

– Двенадцать.

– Школу закончит в семнадцать, тебе будет пятьдесят восемь.

– Пятьдесят восемь, – согласилась Антонина Ивановна.

– Какие шансы?

Самохвалова промолчала.

– Молчишь? Молчишь! А я тебе скажу: никаких. В шестьдесят лет...

– В пятьдесят восемь, – поправила Адрову Антонина Ивановна.

– В шестьдесят лет... у бабы никаких шансов! Только если молодой. Так молодой-то тебя и не захочет, а мужики в шестьдесят, прости, Тоня, – старые пердуны. Сколько твоему-то?

– Шестьдесят...

Татьяна Александровна залилась краской, а через секунду – заразительным смехом.

– И ка-а-к? Мы капусту рубим, рубим? Мы морковку трем, трем? Ничего еще? Стар, да удал?

Самохвалова захихикала...

– Ну вот, – примиренчески заговорила Татьяна Александровна. – А ты говорила «старый пердун»...

– Я не говорила.

– Не говорила? – притворно изумилась Адрова. – А кто ж это говорил?

– Так ты и говорила.

– Я-а-а-а? Ну... так я прошу прощения. Не знала деталей. Он хоть кто, Тонь?

Самохвалова не успела ответить, как в дверь преподавательской постучали и, не дожидаясь разрешения, вошли. На пороге стоял курсант из Никарагуа, всем своим видом демонстрируя почтение и покорность:

– Антяниня Иванявня! Можня просить?

– Слушаю вас, курсант Аргуэйо.

– Антяниня Иванявня, просить ситать! – курсант протянул Самохваловой конверт.

– Что это?

– Ситать!

Антонина Ивановна рассмотрела конверт и ничего на нем не обнаружила.

– Письмо? – поинтересовалась преподавательница русского языка у курсанта первого года обучения.

– Ситать, – согласился тот и замер в ожидании.

«Дорогой иностранный друг! Пишет тебе студентка кулинарного техникума Фролова Лидия. Кто бы ты ни был, хочю предложить тебе дружбу. Когда ты так далеко от Родины, тебе

нужна поддержка и забота. И я готова дать их тебе. Если же ты не нуждаешься в них, не выбрасывай это письмо, а отдай его своему товарищу».

К тексту прилагался адрес и контактный телефон.

– Ничего себе! – присвистнула Татьяна Александровна, а курсант из Никарагуа поинтересовался:

– Этя плёха, учитель?

– Это не плохо, курсант Аргуэйо. Это наши русские девушки хотят с тобой дружить, – пояснила Антонина Ивановна.

– Спроси его, – подсказала Татьяна Александровна, – где он взял это письмо.

– Курсант Аргуэйо, кто дал тебе письмо?

– КэПиПе.

– Дежурный по КПП? – уточнила Самохвалова.

– Да, учитель.

– Оставьте это письмо мне, курсант Аргуэйо, мы будем вместе его переводить на уроке.

– Хоросё, Антянина Иванявня. Свободня?

– Свободен, – по-матерински улыбнулась своему воспитаннику Самохвалова и подтолкнула его к двери. – До завтра, курсант Аргуэйо.

– Видала?! – возликовала Татьяна Адрова, как только закрылась дверь в преподавательскую. – Лягушки – и те хотят любви. Желтокожие, кривоногие, маленькие... «Хочу предложить тебе дружбу!» Надо бы ротному сказать, а то план по рождаемости перевыполним, пусть этих девок с КПП гоняет.

– Не надо никому ничего говорить! И лягушками их не надо называть, – запротестовала Антонина Ивановна. – Какие они тебе лягушки? Дети они еще.

– Лягушки и есть, – не согласилась Адрова, испокон веков обучающая русскому языку курсантов из дружественной Венгрии. – Азиаты!

– Это какие же они азиаты? – возмутилась Самохвалова. – Латиноамериканцы! Ты политическую карту мира видела?

Вообще-то Антонина Ивановна на коллегу обиделась: курсантов своих она любила за их вежливость и маленький рост. «Никарагуяточки» – ласково называла их Антонина, показывая родственникам и знакомым коллективные фотографии. «Урок русского языка у курсантов из Никарагуа», «Наши трудовые будни», «Русский язык как иностранный» – каждый снимок имел свое название. Самохвалова знала своих курсантов по именам, заочно была знакома с их далекими родителями и женами, передавала тем приветы и слова благодарности за воспитание сыновей.

Невысокая ростом, с выдающейся вперед грудью и уже исчезающей талией, Антонина Ивановна входила в аудиторию с чувством собственного величия. Величие множилось благодаря блеску узко разрезанных глаз восхищенных курсантов, маслянисто-смуглокожих, на родине которых столь пышные женские формы ценились невероятно высоко.

– Антянина Иванявня, – уважительно называли они своего преподавателя, с трудом отрывая взор от глубокого выката на блузке. И, возвращаясь из летних отпусков, везли для своей Антянины плетеные кожаные пояса ручной работы, индейские пончо, тайваньские семицветные наборы для макияжа, расшитые блестками рубахи, знаменитые никарагуанские сигары и ром.

– Подарков много, толку чуть, – жаловалась Самохвалова соседке Шуре. – Куда я все это дену?

– Господи! Да что за проблема! Отнесу к себе в комбинат, к вечеру все разойдется.

– Неловко как-то, – смущалась Антонина от столь быстро наступившего взаимопонимания.

– Неловко спасибо говорить, а потом в мусорное ведро выбрасывать. Давай, назначай цену.

– Нет уж, Санечка, ты сама, – отмахивалась Самохвалова.

– Как это? – для проформы удивлялась тетя Шура. – Вот набор, например.

– Да откуда же я знаю?

– А кто знает-то? – ворчала Санечка. – Я, что ли?

Не сумев определиться с ценой, звали пианистку Валечку. За отменный вкус и обширные связи в торговле офицерские жены саркастично называли ее «Мадама» и с наслаждением распускали о ней сплетни, дабы сохранить в полной неприкосновенности крепкие офицерские семьи. И это понятно: кукольная остроносенькая блондинка с точеными формами, фарфоровой кожей и экстравагантными туалетами не могла не привлечь внимания защитников Родины. Умные жены, к числу которых, например, принадлежала Санечка, с Валюшей старались дружить, давя в себе зависть, налетающую от тонкого запаха французских духов, распахивающегося намного выше колен шелкового красного халата с розовыми журавлями и увенчанных пухом комнатных тувфелек. Кроме стремления к изысканности, у Валентины имелся муж и две дочери – Муза и Ива.

К соседкам Шуре и Антонине Валечка относилась с симпатией, поэтому проконсультировать по вопросам ценообразования не отказалась.

– Тайвань? – презрительно посмотрела она на разложенные наборы. – Красная цена, девочки, – двадцатка в базарный день.

– А это? – робко поинтересовалась Антонина, показывая на расшитые рубахи.

– Извините, дерьмо! – нежным голоском вынесла приговор куколка. – Но в нашем городе спрос есть: можно выгодно продать. Даже знаю кому. Ремни уйдут на ура. Накидки возьму сама, для девчонок. Или ты своей оставь – уж очень оригинальные.

– Ва-а-аль... – заканючила Антонина.

– Моих десять процентов от продажи, – ласково, но четко выдвинула Валечка свои условия, после чего Санечка посмотрела на нее с ненавистью – блестящий товар уплывал прямо из рук вместе с косметическими наборами, о которых грезил Шурина дочь.

– Может, все-таки отнести на комбинат? – делано равнодушным голосом предложила Санечка.

– Ну зачем? – воскликнула Антонина. – Зачем ты будешь рисковать своей репутацией? Предлагать все это? Тебе это будет неловко. А Валя знает, кому...

В этот момент Валя, положив ногу на ногу, откинулась на стуле и томно посмотрела на соседок. Весь ее вид говорил о том, что в данном вопросе у нее есть и знания, и умения, и прочно усвоенные навыки. А еще, кроме десяти процентов от продажи, в явленной ее взору куче барахла не было ровным счетом ничего интересного. Косметику Валентина предпочитала европейского производства, особенно жаловала «Ланком», а ширпотреб вообще как вариант не рассматривала, тяготея к вещам эксклюзивным. В их число входила каракулевая муфта, клош, слауч, «таблетка» с вуалью, перчатки по локоть с шестнадцатью пуговицами и еще много чего. Девочек своих она одевала с такой же изысканностью, но во двор не выпускала, поскольку боялась племса, стремящегося к разрушению красоты. Поэтому, как только Муза и Ива вошли в соответствующий возраст, она определила их в Одесскую музыкальную школу-интернат имени Столярского. В родные пенаты девочки наведывались изредка, как правило, на каникулы, и то не на все. Зато сама Валентина невероятно возлюбилась «в цветущих акациях город» и даже подумывала, не поменять ли место жительства окончательно. Держал муж – по мнению экзальтированной тещи, полное ничтожество, погубившее не просто карьеру великой пианистки, но и всю Валечкину жизнь. Супруг Эдик об этом не догадывался и думал иначе, чему немало поспособствовала Валина свекровь, уверявшая родных, что если бы не эта женщина... Конец

понятен – все было бы в жизни Эдика замечательно. Под «замечательно» подразумевалось: я и только я.

Валечка серьезной соперницей свекровь не считала, поэтому легко отправляла супруга к маме, чтобы именно там он мог насладиться бескорыстной любовью и заботой. Эдик уходил без удовольствия и даже дважды пытался наложить на себя руки, пытаясь избежать позора, но дважды делал это таким образом, что спасение ему было гарантировано.

Поэтому ни тетя Шура, ни сама Антонина не торопились осуждать соседку, находящуюся в вечном поиске счастья. Иногда счастье в дом прилетало само: то в виде посыльного из училища, то в виде седовласого офицера с большими звездами на плечах, то в образе курсанта-иностранца или слушателя курсов повышения военной квалификации. Проводив гостя, Валюша садилась за инструмент и играла Равеля. Звуки «Болеро» особенно часто слышались, когда училище выезжало на учения. И в этот момент Антонина, проживающая на втором этаже, испытывала черную зависть, жалея, что не владеет ни одним музыкальным инструментом. А как хотелось! Чтоб вот так же, в жемчужном пеньюаре, в вуалетке и в перчатках до локтя! Но кто же себе это позволит, когда в доме двенадцатилетняя дочь? До музыки ли тут?

Впрочем, иногда и до музыки. Петр Алексеевич, пользуясь отсутствием Катьки, посещал Антонину Ивановну по субботам с восьми тридцати до двенадцати. За это время он успевал насладиться Равелем и хрустящими накрахмаленными простынями. Услышав звуки «Болеро», Солодовников замирал, а когда музыка переставала звучать, всегда говорил одну и ту же фразу:

– Все-таки Чайковский – это Чайковский.

При мысли, что завтра наступит суббота, а вместе с ней и определенного свойства удовольствия, Самохвалова зарделась. Сей факт не ускользнул от взгляда пытливого коллеги. После выходных Антонина Ивановна приходила на работу в училище кричаще-симпатичная, что Адруву невероятно раздражало.

Невзирая на долгие годы знакомства, на дружественность семей, на прием пищи из одной тарелки, Татьяна Александровна радости от позитивных изменений в жизни подруги не испытывала. Но если, не дай бог, беда: Борька женится, Катька хворает, соседи заливают – то тут надежнее и расторопнее Адровой было просто не найти. Свадьбу сыграет, денег добудет, стены оклеит, с врачами договорится – неутомимой Татьяне Александровне все по плечу. Единственно, чего не могла перетерпеть Адрова, так это женского счастья вдовы Самохваловой. При этом что интересно! Она с невероятным энтузиазмом занималась сватовством, устраивала смотрины, давала ключи от собственной квартиры, если это требовалось, и всячески склоняла подругу к замужеству, уговаривая позаботиться о себе самой. Но как только на горизонте возникал призрак Дворца бракосочетания, а в глазах Антонины зажигались лукавые огоньки, Татьяна Александровна мрачнела, отдалялась, укоризненно покачивала головой при виде счастливой Самохваловой, а потом – взрывалась. Разумеется, по какому-нибудь пустячному поводу.

Нужно ли говорить о том, что слова Антонины Ивановны, размышляющей о музыке Равеля и Чайковского, вывели Адруву из состояния прежней благожелательности.

– Да какая мне разница! – взбрыкнула Татьяна Александровна. – Северная Америка! Южная Америка! Азиаты! И все тут.

Завершив работу на ниве обучения иностранцев русскому языку, подруги покинули преподавательскую в разное время, сознательно выдав друг другу карт-бланш, дабы не усугублять ситуацию. Столкнувшись с Адровой у КПП, Антонина Ивановна пропустила коллегу к вертушке и зачем-то пошла в противоположную от остановки сторону.

Самохвалова шла мимо оштукатуренного и выкрашенного в желтый цвет забора, ограждающего территорию училища от остальной части города, мимо военного госпиталя, разместившегося в дореволюционном здании красного кирпича, у стен которого толпились в основном матери, приехавшие навестить сыновей. Курсанты смущались от материнского напора и

кутались в синие байковые халаты, из которых торчали худые мальчишеские шеи. «Господи, совсем еще дети!» – с нежностью подумала Самохвалова, наблюдая за ними.

Вскоре асфальтированная дорожка сменилась проторенной тропой, огибающей знаменитый забор, через который курсанты радостно перепрыгивали, уходя в самоволку. Пошли гаражи, подъезды к которым были усыпаны гравием, какие-то мелкие слесарные мастерские... Антонина запыхалась, сняла с себя лишний в этот сентябрьский вечер плащ и резко замедлила шаг.

«Чего это я?» – мысленно изумилась она, обнаружив перед собой очередной гараж, у распахнутых ворот которого вальяжно стоял прапорщик Горлач, известный в училище по прозвищу Ходок. Ходил служивый, конечно, не к Ленину за советом, а исключительно к вольнонаемным машинисткам, работницам столовой, медсестрам и другим представителям младшего женсостава. На Антонину Горлач заглядывался давно, называя ее за глаза «гавайской гитарой». Такие пропорции более всего волновали сердце влюбчивого прапорщика. При этом Горлач не был холостяком: у него на иждивении находились престарелая мать, жена-ровесница и сын Ванюшка, такой же, как отец, рыжий и коренастый. Наличие трех иждивенцев любовниц Горлача ничуть не смущало, так как тот не просто истово трудился на благо процветания женской красоты и состоятельности, но и был щедрее иного генерала. Картошка, крупы, сливочное масло брикетами, тушенка «всех мастей и всех сортов», носки и кальсоны для обманутых мужей, апельсины детям, а особенно обольстительным и юным – французская парфюмерия и немецкий трикотаж.

Антонине Горлач был готов отдать самое дорогое, то есть последнее в вышеупомянутом списке. Проблема была в другом: отдать-то он был готов, вот только вдова Самохвалова никак не соглашалась принять «ни к чему не обязывающий» презент.

– Тоня, – увещевал Горлач соседку по дому. – У нас же с тобой дети.

– У меня – свои дети, у тебя – свои, – отрезала Антонина и продолжила прерванный путь. Прапорщик отступал на время, а потом засылал лазутчика.

– Теть Тонь, – тарабанил в дверь рыжий кабанчик Ваня, – а Катька до-о-о-ма?

– Она тебе зачем? – строго интересовалась Самохвалова.

Дальше у Ванюшки фантазии не хватало, и он признавался, продавая собственного отца с потрохами:

– Папка прислал.

Но когда папка прислал еще и мамку, возмущению Антонины не было предела. Пригласив печальную Веру Горлач в дом, усадив на кухне, Самохвалова сдержанно расставила все точки над «і», посоветовав развестись с этим засранцем и начать НОРМАЛЬНУЮ! ПОЛНОЦЕННУЮ! ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ жизнь. Вера расплакалась и пообещала удавиться.

– Вот это лишнее, – погладила ее по спине Антонина и предложила чаю, о чем впоследствии пожалела, ибо чай длился до ночи.

За время продолжительной чайной церемонии Вера Горлач успела рассказать душевной соседке всю свою несчастную жизнь и допустить говорящую бестактность:

– Вот и радуйтесь, что у вас муж вовремя умер. А то бы гулял.

Светлая Сенина память от этих слов воспарила над Антонининой головой, и хозяйка объявила об окончании визита. Увидела она Веру только через три дня с разбитым лицом и пустыми глазами. Бросившись к несчастной со словами утешения, она вовремя остановилась: на балконе в голубой майке и семейных трусах стоял Горлач – великий и ужасный. При виде Антонины прапорщик принял развязную позу и с мерзкой ухмылкой плюнул вниз.

– Вот сволочь! – психанула Самохвалова, но вовремя сдержалась – вдруг окна перебьют.

Ну уж нет! Горлач был слишком осторожен, так как не понаслышке знал о специфике военной субординации: мало того, что преподаватель кафедры русского языка в училище, мало того, что вдова полковника Арсения Самохвалова, так еще и добрая знакомая самого началь-

ника училища генерал-лейтенанта Мовчана. «Время покажет!» – затаился Ходок, рассматривая с балкона рыжие кудряшки Самохваловой. И был прав: капризное осеннее время нечаянно занесло гордую Антонину в святая святых – гараж прапорщика Горлача.

– Пришла, Тоня? – ласково и грозно одновременно поинтересовался Ходок. – А говорила, не придешь.

Горлач плотоядно смотрел на Самохвалову и скабрёзно усмехался, вытирая руки какой-то замасленной тряпкой. Антонина вздернула подбородок, намереваясь продолжить путь, но не тут-то было. Ходок шагнул вперед и преградил дорогу своим квадратным телом. Самохваловой стало жутковато. Горлач втянул ноздрями воздух и повел головой, переступая с ноги на ногу. Движения прапорщика были замедленны и не по-военному пластичны. Весь его вид напоминал кружащего вокруг кошки кота. Казалось, еще немного – и Ходок затрясет хвостом, разбрызгивая вокруг себя животную амбру.

– Зайди, – гипнотическим голосом выдохнул Горлач. – Посмотри, как устроился.

– Что я... гаражей, что ли, не видела? – клацнула зубами Антонина Ивановна.

– Не бойся... – усмехнулся прапорщик. – Ты такого никогда не видела. Будет хорошо.

Ходок сделал еще шаг вперед, коснувшись застывшей от ужаса Антонины бугром выпирающей ширинки, и приобнял ее за знаменитую гавайскую талию. Самохвалова послушно сошла с тропинки. Обольститель дышал в шею, отчего по позвоночнику вниз поползла истома и предательски потянуло вниз живота.

– Иди-иди, – уговаривал Горлач, увлекая за собой переставшую сопротивляться разомлевшую Самохвалову. – Иди-иди...

В полумраке гаража пахло сыростью и еще чем-то странным: словно подгнившей картошкой. За стеллажом с консервацией под грудой солдатских одеял скрывалось несвежее, пропахшее потом прапорщичье ложе. Горлач толкнул Антонину вперед, притянул к себе и обеими руками полез под юбку. Самохвалова потеряла равновесие и уткнулась лицом в заскорузлые окаменевшие одеяла. Ее чуть не вырвало от омерзения. «Это что это я?!» – возмутилась Антонина Ивановна и перевернулась на спину. Горлач воспринял ее движение как демонстрацию полной готовности к процессу, рванул штаны и тут же получил коленкой по яйцам.

Пока Ходок корчился от боли в своих затертых потными телами одеялах, растрепавшаяся, в задранной юбке, Самохвалова вскочила на ноги и рвущимся голосом проорала:

– Под трибунал пойдешь, сволочь!

– Не пугай, не страшно, – осклабился прапорщик.

– Я в политотдел! – пригрозила Антонина.

– Давай, дуй. И не забудь там сказать, что сама пришла.

– Га-а-ад! – завизжала Антонина.

– На х... пошла! – устало выдохнул Горлач и перевернулся на спину.

– Что-о-о-о? – опешила Самохвалова.

– Что слышала... А Верке хоть слово скажешь, убью!

Антонина, прихватив упавшую в дверях косынку, выскользнула из гаража и стремительно подалась по злополучной тропе в сторону стоявших на высоком берегу реки многоэтажных домов.

«Эх и дура! Эх и идиотка! – ругала она себя за произошедшее. – Курица безмозгая! А если кто видел?!» Скорее всего, Антонину Ивановну в это время никто видеть не мог. У жителей многоэтажки косогор, покрытый разноцветными крышами гаражей, пользовался дурной славой, поэтому без нужды там никто не шляется. Если только большой компанией подростков, ищущей укромных мест, чтобы спокойно покурить и пообниматься.

Самохвалова, оправляя на ходу блузку, ускорила шаг и практически побежала: прочь-прочь от проклятого места! Добравшись до новостроек, остановилась и зашла в магазин, прозванный местными аборигенами «На бережке». Вообще, район, где имела честь проживать

Антонина Ивановна, городской шпаной почтительно именовался «офицерье» не случайно. Большую его часть занимали дома, входившие в ведомство КЭЧ, а значит, заселенные военнослужащими. Для удобства защитников родины и их семей руководство гарнизона отстроило детский сад, школу, ателье пошива одежды, магазин-военторг и, разумеется, кафе под традиционным названием «Звездочка». Именно к нему и направлялась растерзанная Антонина. По мере приближения к главному маячку «офицерского» района шаг ее становился все более и более степенным, а осанка все более и более величавой.

– Антонина Ивановна! – радостно поприветствовал ее майор Алеев, сбежавший по ступеням крыльца офицерского кафе. – Какими судьбами?

– Добрый вечер, Фаттых Гайнулович, – поприветствовала его Самохвалова. – Вот решила прогуляться – с работы пешочком.

– Это через гаражи? – изумился майор, распространяя вокруг себя устойчивое амбре винных паров и одеколона «Спортклуб». – Рисковая вы женщина, Антонина Ивановна!

– Да я уж и сама не рада, – пожаловалась Самохвалова. – Ни души – одни собаки, да и тех по пальцам пересчитать.

Алеев галантно подхватил Антонину Ивановну под локоток и повел по направлению к дому, у подъезда которого стоял неприкаянный Петр Алексеевич Солодовников с тремя гвоздиками и в дерматиновом пальто нараспашку. Увидев свою Тонечку в сопровождении бравого майора связи, Петр Алексеевич стушевался и от волнения сделал два шага вперед, три назад. Фаттых Гайнулович быстро сориентировался и галантно подвел Антонину Ивановну к приплясывавшему Солодовникову. Склонив голову, майор по-восточному витиевато произнес:

– Передаю вам вашу красавицу. Завидую, так сказать, одновременно.

Опешивший от татарской велеречивости Солодовников протянул Алееву руку и твердо, по-мужски, представился:

– Петр. Очень рад.

– Фаттых Гайнулович, – объявила Самохвалова.

– По-вашему Федя, – уточнил Алеев и плавно проскользнул в подъезд.

Антонина Ивановна посмотрела на часы и поинтересовалась:

– Давно стоишь?

– Да часа два, не меньше.

– А чего ж не поднялся?

– Поднялся. Катя не открыла.

– Как не открыла?

– Сказала: мамы дома нету – впускать никого не велено.

– Ну я этой Кате! – возмутилась Самохвалова и решительно направилась к подъезду.

– Подожди, – замялся Солодовников. – Давай присядем.

Присели.

– Ну чего ты, Петр Алексеевич?

– Тонь... – Солодовников запнулся. – Может, уж хватит: ты – здесь, я – там. Я ведь помогать тебе буду. И Катюшку я люблю. Опять же, и получаю я ничего, и пенсия у меня достойная...

– Опять ты за свое, Петр Алексеевич? – устало выдохнула Антонина.

– Я и квартиру свою, если что, на Катюшку запишу...

– С чего это вдруг? – оживилась Самохвалова.

– А как же, Тонь? Я уж не мальчик вроде. Да и ты... опять же... вдовая...

– Я на жизнь не жалуясь, – запротестовала Антонина Ивановна.

– Да при чем тут «на жизнь не жалуясь»? – разволновался Солодовников. – Нам вроде ж неплохо-то вместе?

Антонина потупилась – перед глазами пронесли события сегодняшнего дня: курсант Аргуэйо, сердитая Адрова, рыжий Горлач с расстегнутыми штанами... Теперь вот – покрывший пятнами Солодовников с потрепанными гвоздиками в руках. Утомившаяся от ожидания Катька.

Самохвалова выдохнула, огладила на коленках юбку и тяжело поднялась:

– Да ладно, Петр Алексеич. Чего уж там... И мне одной ведь несладко...

Солодовников не поверил своим ушам:

– Так, значит, это ж что? Что ж это?

– Да ладно уже, – кокетливо встряхнула кудрявой головой Антонина Ивановна. – Поднимайся. Домой пойдем.

* * *

Ненавижу! Ненавижу ЕГО! И ЕЕ тоже ненавижу! К тете Еве меня отправила: занимайся, Котенька, математикой. Зачем мне математика?! Себе, главное, мужа завела, а мне собаку нельзя.

И эта Ева! Замучила уже: бат, Котя, доченька моя... Какая я тебе доченька?! Вот роди себе доченьку и называй ее. Как хочешь. Хоть крокодилем.

У всех матери как матери. А эта... «Петр Алексеич! Петр Алексеич!» А у твоего Петра Алексеича ногти на ногах желтые и торчат. В трусах ходит. Хоть бы штаны надел на свои ноги дурацкие... И спрашивает все время: «Ты уроки сделала?» Какое тебе дело?! И ЭТА тоже: «Не груби отцу». А сама целует его в лысину и смеется. Гадость какая!

Известие о том, что «Петр Алексеевич будет жить с нами», Катька приняла внешне равнодушно: «Ну, с нами так с нами». Со свадьбой решили повременить, невзирая на горячие уговоры Солодовникова: тот хотел официально, чтобы «без всяких яких», чтобы в загс, «как положено», и в ресторан узким кругом.

– Ну, предположим, узким кругом мы и дома соберемся, – отрезала Антонина. – Чего на всякое баловство деньги тратить?

– Ну, как же, Тонечка, – волновался Петр Алексеич. – Второго же раза не будет!

«И без первого можно обойтись», – злобствовала про себя Катя Самохвалова, наблюдая за дебатами взрослых.

– Я что, по-твоему, фату должна на седую голову нацепить? – издевательским тоном задавала вопрос Антонина Ивановна.

– Никакая не седая! – сопротивлялся Солодовников и от волнения потирал черепаховые руки.

– Да уж... не седа-а-а-я! – парировала Самохвалова и махала на жениха рукой.

Вызвали Еву. Чтобы пришла и сказала, как есть. По-честному. По-дружески то есть. Поджав губы, она строго посмотрела на наряженного в белую рубашку с галстуком Петра Алексеевича, осталась недовольна и сухо проронила:

– Чего людей смешить?

Еве Соломоновне были недоступны женские радости: сморщенные сухие губы никогда не знали страстных поцелуев, даже климакс и тот пришел незаметно и естественно, как будто и был всегда. Этой женщине можно было дать и сорок, и пятьдесят, и шестьдесят. Причем и Антонина Ивановна, и Катя единодушно считали, что Ева с годами не меняется, разве только становится чуть полнее: все те же усики над губой, все та же камешка на блузке и перстни, перстни... Перстни Ева Соломоновна Шенкель любила, сохраняя им верность на протяжении всей своей самостоятельной жизни. Разумеется, речь не шла о ширпотребе, выложенном на витринах государственных ювелирных магазинов. Речь шла о тех изделиях, рассмотреть кото-

рые можно было исключительного с заднего хода: в кабинетах заведующих магазином и главных товароведов. Но гораздо чаще Ева Соломоновна приобретала очередное кольцо у ювелира Александра Абрамовича Пташника (и отнюдь не всегда – с тисненой пробой).

– Е-э-э-вачка, де-э-э-этка, – скрипел в телефонной трубке голос дяди Шуры. – Пора тебе зайти к старому поклоннику – кое-что у меня для тебя имеется, дитя мое. Твой папа был бы доволен...

Пока Ева рассматривала через лупу очередной сапфир (бриллиант, изумруд), Пташник значительно побряхтывал, пританцовывал и глухо бормотал ругательства, адресованные советскому Ювелирторгу. Если перстень удовлетворял запросам Евы Соломоновны, она отказывалась от покупки, ссылаясь на дороговизну. Пташник обижался, призывал в свидетели покойных родителей Евы – дядю Соломона и тетю Эсфирь – и грозил отлучить от дома «бестолковую Евку».

Тогда Ева Соломоновна обещала подумать, и в любительском спектакле наступал антракт. Во время временного перемирия участники торгов ностальгически вспоминали старые добрые времена, когда «ты, Евка, еще пускала слюни на подбородок», а «вы, дядя Шура, с папой играли в шахматы».

– Думал ли я, девочка моя, что ты будешь чистая тетя Эсфирь?! – смахивал слезу с глаз Пташник.

И Ева Шенкель с готовностью подтверждала означенное сходство, поэтому грозила пальцем и обвиняла Александра Абрамовича в отступничестве. Пташник в возмущении вскакивал со своего вертящегося кресла и просил «негодную девочку» удалиться. Тогда Ева признавалась в любви своему ювелиру и, оскорбленная, направлялась к выходу.

В дверях «эта дурная Евка» и Александр Абрамович насакивали друг на друга в последний раз, после чего Пташник объявлял о снижении цены на десять процентов.

– Сколько?! – переспрашивала Ева Соломоновна, «не веря своим ушам», потому что «это чистый грабеж».

– Десять, – повторял Александр Абрамович, не глядя на покупательницу.

– Нет, – говорила Ева и начинала застегивать: зимой – шубу, весной и осенью – пальто, плащ, кофту, а летом – что получится.

– Стой! – кричал Пташник. – Дурная Евка!

Ева Соломоновна презрительно смотрела на старого еврея:

– И что вы мне хотите сказать?

– Ты режешь меня без ножа... – стонал ювелир.

– Ну-у-у? – топала ногой Ева Соломоновна.

– Двадцать... – выдыхал Пташник.

– Двадцать? – удовлетворенно переспрашивала Ева Соломоновна Шенкель.

– Двадцать. Но это, Ева, только ради дяди Соломона и тети Эсфирь.

Память о родителях неоднократно освещала дорогу одинокой Евы Шенкель, по которой она брела со своей шкатулкой драгоценностей в сторону Небесных врат. По пути ей попадались разные люди. Некоторых из них Ева Соломоновна брала с собой прямо из еврейского общества, а некоторых, не знавших Торы, подбирала на обочине жизни. К числу последних принадлежали мать и дочь Самохваловы. На них было составлено Евино завещание. А уж кто и знал толк в этих завещаниях, то это нотариус – сама Ева Соломоновна Шенкель. Поэтому стоит ли удивляться, что идею официальной регистрации Главная Подруга Семьи подняла на смех? Кому, как не ей, было знать о существовании трагических обстоятельств, дальних родственников и сожителей, дающих показания в самый неподходящий момент?! Нет, Ева Соломоновна хотела передать свое имущество в надежные, верные руки в обмен на уход за немощной старушкой Евочкой (так ласково себя она называла). Не желая знать, как впоследствии распорядятся назначенные ею «потомки» коллекцией драгоценностей, нотариус Шенкель, отходя ко

сну, просила у Бога внезапной смерти: «Чтобы р-р-р-аз – и не проснуться». Но при этом в собственном доме никогда не ходила разутой и не ложилась спать ногами к дверям, то есть собиралась жить как можно дольше.

Замужество Антонины Ивановны не входило в далеко идущие Евины планы, и Катя Самохвалова интуитивно это чувствовала, поэтому исподволь косилась на тетю Еву, морщившую нос от резкого запаха столового уксуса, который Петр Алексеевич на правах будущего хозяина дома подливал в скукоженные на тарелке бузы.

– И что в этом смешного, позвольте вас спросить? – с обидой интересовался жених.

– Сколько вам лет? – бесцеремонно уточняла Ева, подспудно чувствуя Катькину поддержку.

– Е-э-э-ва... – умоляюще запела Антонина Ивановна, – ну какое это имеет значение?

– Самое прямое, – настаивала на своем Главная Подруга.

– Ну, предположим, шестьдесят, – с вызовом пускал пузыри в компот Солодовников.

– Вы разведены?

– Нет, я вдов, – грустил Петр Алексеевич.

– Дети?

– Моим детям нет до меня никакого дела, – признался жених.

– Это пока... – многообещающе проронила Ева. – В общем, так: как человек опытный я бы не рекомендовала вам оформлять отношения официально, пока вы не заручитесь согласием родственников, ибо может возникнуть...

– Я квартиру на Катюшку оформлю, – заторопился Солодовников.

– Это пожалуйста. Ваше право...

– Знаешь что, Ева, – обиженно поджала губы Антонина Ивановна. – Мы с Петей здесь как-нибудь сами разберемся...

Главная Подруга Семьи Самохваловых осеклась, почувствовав по интонации Антонины, что перегнула палку.

– Ой, – пискнула тетя Ева, хотя обычно разговаривала зычным голосом. – Простите меня...

– Что вы, что вы, Ева Соломоновна, – заволновался Солодовников и плеснул очередную порцию уксуса в остывшие бузы, покрывшиеся восковыми капельками жира.

– Бестактна... Стара... – пригорюнилась Главная Подруга и ткнула вилкой в окаменевшее кушанье.

– Не ешь! – коршуном взвилась Антонина и выхватила тарелку из-под носа. – Потом поджелудкой страдать будешь: они холодные и уксуса много.

– Не буду, – согласилась Ева и засобиралась.

Впервые ее никто не останавливал. Антонина – потому, что ей было чем заняться сегодняшним вечером, Катя – потому, что тетя Ева не оправдала ее надежд, Петр Алексеевич – потому что не знал, принято ли в доме Самохваловых бросаться грудью на амбразуру, чтобы гости задержались еще на время. В его доме гостей вообще не было. В смысле – друзей. Только родственники. Покойная жена, царствие ей небесное, суеты не любила. Столы там и все такое прочее. По дому ходила в ситцевом халате и в кожаных тапках со смятыми задниками. И когда она шла из комнаты в комнату, тапки звонко били ее по сухим потрескавшимся пяткам. Студенистая и унылая, она могла часами сидеть у кухонного окна или же, задрав голову, на покрытом красным плюшем диване. Солодовникову всегда казалось, что жена спит. А она тихонечко уходила из жизни, потому что ей все сразу как-то стало неинтересно. Родственники жены подозревали Петра Алексеевича в тайных изменах, в наличии семьи на стороне, в сексуальных извращениях и даже в рукоприкладстве. Ничего этого не было: он честно любил свою Наташу. Как мог... И, когда та лежала в гробу в платье мышинного цвета с беленькой косынкой на голове,

Солодовников плакал и по-бабьи раскачивался из стороны в сторону, сморкаясь и тиская мокрый платок.

Вернувшись с кладбища, Петр Алексеевич не заметил затянутых простынями зеркал и заснул как убитый. А когда проснулся, ему показалось, что Наташа жива, потому что в доме было так же тихо, как и при ней. Через месяц после смерти жены Солодовников включил радио и удивился, как громко оно играет. Еще через месяц купил новый телевизор. А когда со дня смерти жены миновал год, уехал по путевке в волжский санаторий «Утес», где в очереди на микроклизмы и познакомился со своей Антониной.

Мог ли он тогда предполагать, что эта женщина с мелко завитыми медными волосами, напоминающими жесткую проволоку, с выдающимися вперед скулами, с покрытым гибельным перламутром ртом откинет для него со своей двуспальной кровати стеганое атласное одеяло цвета зари?!

«Заря новой жизни» – поэтически называл Петр Алексеевич символическую встречу в коридоре санатория. И даже пытался писать стихи, посвящая их возлюбленной. Лирика Солодовникова была откровенно графоманской, но искренней. И Петру Алексеевичу казалось, что иначе говорить невозможно. Одним словом, Солодовников убедился, что рожден поэтом, просто этот дар дремал в нем ровно шестьдесят лет.

– Что ж, – философски рассуждал он. – Это не мы выбираем, это нас выбирают.

Обращение к себе во множественном числе носило знаковый характер. Петр Алексеевич считал себя избранным и всячески пытался этому открытию соответствовать. Так, он считал недопустимым вернуться с работы с пустыми руками, то есть без очередной элегии, или «опуса», как он сам называл свои произведения. Чувствуя недостаток образования, Солодовников пытался наверстать упущенное и запоем читал «классиков». А именно: Хайяма, Пушкина, Маяковского и... Асадова. Как отголоски прочитанного возникали строки:

Если любимая двери закроет,
То для меня умирает весь мир,
Тоня, родная, побудь ты со мною.
Ты – мой кумир.

Или:

Пора, моя любимая, пора!!!
На улице резвится детвора,
Немолоды, увы, ни ты, ни я,
Но оттого люблю сильнее тебя.

«Но оттого люблю сильнее тебя...» – скривилась Катька, увидев в материнском ежедневнике отпечатанное на машинке стихотворение. В правом верхнем углу значилось «Любимой А...», а внизу стояла размашистая подпись ревизора Солодовникова.

«Идиот!» – вынесла приговор девочка и вложила листок в ежедневник.

Петра Алексеевича она возненавидела с того самого момента, когда теплым осенним вечером мать привела его за руку и «положила на ее, на Катькину половину».

«Интересно, – размышляла девочка. – А ЕМУ ОНА тоже говорит, что это Сенино место? Или нет?»

Материнское решение выйти замуж Катька не оспаривала: не осмелилась. Она просто молилась всем богам, чтобы Солодовникова задавила машина, не насмерть, конечно, а так, до состояния полной неподвижности, на время... А потом, смотришь, и все рассосется. Само. Ко всеобщему удовольствию.

А пока Екатерина Арсеньевна Самохвалова мужественно переносила свое ночное одиночество, ворочаясь с боку на бок. Но она легко бы справилась с вынужденной бессонницей, если бы не эти ужасные звуки, доносящиеся из-за закрытой двери. «Анекдоты, что ли, друг другу рассказывают?» – размышляла Катька, вздрагивая от материнского хохота. Все время что-то там у них стучало, скрипело, сипело, чвакало. Потом они почему-то хихикали. И слышно было, как мать зевала, видимо, даже не прикрывая рта. И Петр Алексеич тоже зевал. А Катька мучилась, разгадывая недоступные детскому разуму секреты взрослой ночной жизни. До тех пор, пока в очередной раз не вмешалась разбирающаяся во всем этом Пашкова.

– Еб...ся, – сообщила она пионерке Самохваловой точное название сокрытого за дверями процесса.

– Это как? – переспросила наивная Катька.

– Ты дура, что ли? – поинтересовалась Пашкова и покрутила у виска пальцем.

Спросить, что точно означало это слово, Катя не решилась, не у кого было. Девочка затаилась, но интереса к сказанному Пашковой не утратила. Дурацкое слово само влезало к ней в уши. Она слышала его в разговорах парней-старшекласников, видела накорябанным на парте. Оно крутилось в ее голове. Поэтому, как только закрывалась дверь в «спальню», слово вступало в свою могущественную силу, и Катя Самохвалова начинала отчаянно материться, не догадываясь об этом. Она произносила его с разной интонацией, на все лады, по слогам, по буквам. Оно измучило ее, это слово. Девочка мысленно затыкала себе рот, нахлобучивала подушку на ухо, зажмуривала глаза – все было бесполезно.

Тогда Катька вывесила белый флаг и обратилась за помощью к всезнающей Пашковой.

– Смотри, – сказала та, подняв левую руку, первый и большой пальцы которой образовывали кольцо.

Катя старательно выпучила глаза.

– А теперь – зырь! – И Пашкова аккуратно ввела указательный палец правой руки в образованное кольцо.

– Ну? – торопила ее ни о чем не ведающая Катька.

– Что «ну»? – разозлилась Пашкова. – Ты мультфильм про Пятачка и Винни-Пуха смотрела?

Катя утвердительно кивнула.

– Помнишь там «входит и выходит»?

– Ну...

– Вот так же и они: он в нее... туда и обратно...

– Кто в кого? – не поняла Катька.

– Х... в п... – грязно выругалась Пашкова, после чего у Кати Самохваловой перехватило дыхание и она бегом бросилась к своему подъезду.

– Учи тут вас, малолеток, – сквозь зубы процедила ее одноклассница и не торопясь побрела в сторону своего дома.

«Этого не может быть!» – орала про себя Катька, выглядывая из окна на улицу. А потом наступала ночь – и получалось, что очень даже может...

Противнее всего было по утрам, когда мать в сорочке из тонкого батиста склонялась над дочерью и будила ее поцелуем в лоб. Рассыпавшиеся медные волосы щекотали Катино лицо, и она с раздражением их смахивала, хотя раньше ей это нравилось. Сквозь просвечивающий на свету батист Катька видела колыханье огромных грудей, и ее обжигало при мысли, что ОН тоже видит ЭТО.

Дабы не быть свидетельницей материнского позора, Катя запиралась в ванной и долго стояла над раковиной, наблюдая, как течет из крана вода.

– Ты долго еще? – тарабанила в дверь Антонина Ивановна. – Петру Алексеичу нужно бриться.

«Обойдется твой Петр Алексеич!» – злорадствовала девочка и нарочито сонным голосом отвечала:

– Ну ща-а-а-ас...

Это была месть.

«Пусть обсикается», – хихикала про себя Катька и торчала в ванной до тех пор, пока не начинали стучать в дверь. Дальше злоупотреблять терпением матери становилось опасно, и девочка выходила из затянувшегося подполья под громкое квохтанье Петра Алексеича, переступавшего с ноги на ногу от безудержного желания «по-маленькому».

Дочерний маневр Антонина разгадала довольно быстро и так же быстро призвала к ответу:

– Ты зачем пакостишь?

Катька молчала.

– Посмотри на меня!

Девочка с готовностью вскинула голову и посмотрела на мать, не отводя взгляда. Антонине стало не по себе: столько боли и страдания она обнаружила в дочернем взоре.

– Ка-а-ать...

Самохвалова притянула к себе дочку, отчего у той дрогнула нижняя губа и из глаз полились слезы. При этом Катька не проронила ни слова: просто стояла, смотрела на мать и молча плакала. В школу потом пришла зареванная, а Пашковой сказала, что видела, как собаку задавили, «прямо все кишки по дороге и в глазах слезы». Пашкова потом долго бродила от дома к дому, пытаясь найти эти злосчастные собачьи останки, омытые кровавой рекой. Так и не нашла. Зато натолкнулась на Катькину мамашу, чесавшую язык с соседкой из второго подъезда.

Знай Пашкова, по какому поводу велись дебаты, она, может, и не стала бы искать эту несуществующую собаку, а просто провела бы с Катькой Самохваловой психотерапевтическую беседу с опорой на свой богатый жизненный опыт.

Антонина Ивановна и тетя Шура обсуждали предстоящую свадьбу. Санечка рвалась в бой, неоднократно повторяя, что жизнь дается один раз и не всякой бабе, между прочим, на голову сваливается возможность второй раз выйти замуж. А тут человек приличный. К тому же ревизор. А уж за ревизором-то как за каменной стеной. А то, что Катька плачет, так поплачет и перестанет. Пора уж и о себе подумать. Для здоровья, в конце концов! А свадьба? Так она никогда лишней не будет: и сплетен никаких, ибо все чин по чину, официально, комар носа не подточит. Всего-то посидим, отметим и разойдемся – Санечкина душа просила праздника.

– Сомневаюсь я что-то, – слабо сопротивлялась Антонина Ивановна и ждала прихода Главной Подруги Семьи Евы Соломоновны Шенкель.

С не меньшим нетерпением этого прихода ожидала и Катя, возлагавшая на тетю Еву свою последнюю надежду. И теперь вот – все! Ева со своей задачей не справилась и позорно ретировалась, бросив все на полпути. Дверь за тетей Евой закрылась, и Катька почувствовала себя Карабасом-Барабасом, которого не взяли в волшебную страну, оставив в грязной и сырой каморке папы Карло. «Зачем, спрашивается, приходила?!» – негодовала про себя девочка, набрасывая на дверь цепочку.

Помощи ждать было неоткуда, и Катерина решила действовать сама. Расчет казался ей беспроигрышным. Она просто уйдет из дома насовсем. Ну, не насовсем, а в смысле из дома уйдет, чтоб в нем не жить. А потом мать поймет, что натворила, и заберет ее обратно. Но сама Катька просто так назад не пойдет – пусть сначала эта черепаха уходит.

Носить в себе этот грандиозный замысел девочке было не под силу, и она решила переложить часть ноши на надежные плечи Пашковой.

– Тебя? Ко мне? – изумилась одноклассница.

Катя просительно заглянула в глаза кривоногой подруге и на всякий случай дернула ту за рукав.

– Не-е-ет... Даже не проси! Меня мать прибьет – нас и так там, как мусора в помойке.

– Ну это же на время, – увещевала Катя несговорчивую Пашкову.

– Да я понимаю, что на время, но ма-а-ать... убьет! Точно.

– Нет, – горячилась Катька, – ты не понимаешь. Если я к тете Еве уйду, она подумает, что так и надо, и беспокоиться не будет – живи, сколько хочешь. А у тебя, во-первых, она не сразу догадается, поплачет сначала, во-вторых, вы меня ей не сразу отдадите...

Пашкова представила свою мать в оранжевом жилете, который выдавали водителям трамваев и сотрудникам дорожных служб, чтоб те светились в темноте, и поняла, что сейчас потеряет подругу. Ну, день, предположим, ее мать еще выдержит, если полы, например, помыть неожиданно или обед сготовить. Но ведь на второй орать будет, как ей все настоеблучило, потому что дети – уроды, муж – пьяница и еще эту дуру бездомную притащили. А у них что? Прият, что ли? Нет! На-ка, выкуси, интеллигенция сраная! Вас бы в смену: кого – на завод, кого – трамвай водить! Сама Пашкова трамвай водить, как мать, не пойдет, не дождетесь. Она милиционершей будет – в форме, в погонах. Только не гаишницей, лучше следовательницей или инспектором по делам несовершеннолетних. А пока мечта ее не исполнилась, ничего не попишешь.

– Не могу я тебя, Катька, к себе привести. Ну че-е-е-стна-а-а! Она меня с говном съест.

План рушился на глазах: сначала тетя Ева все испортила, потом Пашкова подвела. Теперь ничего другого не остается, как заболеть, чтобы мать наконец-то за ум взялась и решила, кто ж для нее все-таки главней. Она или эта черепаха.

В задумчивости Катя перебирала в уме имена тех, к кому она могла бы обратиться за помощью. Ни тетя Ева, ни Пашкова не оправдали возложенных на них надежд. Тетя Шура тоже отпадает. После того злосчастливого попугая она ее на порог не пустит. Оставалась только Людка Чернецова из третьего подъезда. Их раньше, пока маленькие были, вместе в колясках выгуливали. Может, к ней? Про нее мама не сразу догадается.

Пока Катька, стоя у школьного забора, обдумывала чернецовскую кандидатуру, шаркнула подъездная дверь и из нее пулей вылетела собака, напоминающая чепрачную овцу. Махом преодолев низкие бортики, собака присела и наделала на песке огромную лужу. В этот момент морда ее выражала полное счастье, если, конечно, у собак такое бывает. Сделав свои дела, псина вскочила и задними лапами подняла целую песчаную бурю.

«Эрдель!» – застонала Катя от нахлынувшего восторга и отделилась от забора, пытаясь встать поближе к чуду. Чудо в этот момент нашло уже изрядно обглоданную кость и с рычанием затрепало ее по песку.

Эрдельтерьеры Катьке особенно нравились (а она наизусть знала все собачьи породы). После выхода в свет знаменитого фильма «Приключения Электроника» редкий ребенок не мечтал о такой собаке, подозревая, что она-то уж точно разговаривает человеческим голосом. И Катя не была исключением.

– Это твоя собака, девочка? – строго спросила проходившая мимо детской площадки молодая женщина, за руку которой держался полторагодовалый карапуз.

Катька отрицательно помотала головой.

– Совсем уже обнаглели, – возмутилась тетка, глядя, как псина роет яму в углу песочницы. – Здесь дети, а они гадят. В милицию буду звонить... Чья собака?!

– Моя собака, – неожиданно призналась девочка и смело подошла к жизнерадостной овце. Та для приличия рыкнула и продолжила свое неотложное дело. Катя присела на бортик поближе к собаке и осторожно коснулась покрытой завитками холки. Псина на секунду подняла бородатую морду, унизанную песочными сосульками, благодарно посмотрела на девочку, мол, спасибо, что сказала, и всем своим видом предложила присоединиться к процессу.

– Вот и убери эту пакость! – брезгливо приказала Катьке молодая женщина. – А то собачников вызову.

Девочка решительно взяла эрделя за ошейник и потянула прочь от соблазнительной ямы. Собака не сопротивлялась: она тут же заняла положение, называемое в общем курсе дрессировки «рядом», и послушно покинула песочницу.

Катя Самохвалова медленно шла вдоль дома в сопровождении эрдельтерьера. Нет, она не шла, она парила над асфальтом, периодически поглаживая место между собачьими ушами. Овца плелась рядом как ни в чем не бывало. Похоже, ей нравилась новая хозяйка, поэтому ничего не мешало их согласованному движению. По Катькиным ощущениям, полет должен был продолжаться вечно.

При окрике «Йе-э-э-эна!» собака подпрыгнула, встала в стойку и стремглав понеслась по направлению к дому навстречу какой-то дуре, истошно оравшей: «Ко мне-э-э-э! Йе-э-э-на! Домо-о-о-й!». Катька уронила крылья вниз и с тоской посмотрела на нежную встречу двух особей. Псина прыгала на дуру, пытаясь на лету лизнуть ту в лицо, и вокруг них образовалось плотное облако радости. Настолько плотное, что даже Кате хватило. Немного. Самую чуточку.

Деваться было некуда: девочка покорно побрела навстречу незнакомке, с превосходством собственника изучавшей внешний облик воровки.

– Привет, – нагло сощурившись, поприветствовала Катю хозяйка собаки.

Псина послушно уселась рядом.

– Привет...

– Нравится?

Катя Самохвалова понуро кивнула головой:

– Хорошая собака. Добрая...

– Ага, – согласилась девчонка. – До смерти зализать может.

– А ее как зовут? – поинтересовалась Катька. – Йена?

– Рена, – поправила девчонка. – Рената по паспорту.

– Ре-на...

Рена в этот момент наострила уши, попробовала встать, но тут же была водворена хозяйкой на место.

– Ты тут живешь? Я тебя не видела. В нашей школе?

– Переехали только. Нет, не в вашей... Я в центре учусь, в Первой.

– А-а-а, – многозначительно протянула Катька, исчерпав все темы для разговора.

«Что-то надо делать. Что-то надо делать, – стучало в ее голове. – А то сейчас развернется и уйдет. Вместе с собакой».

– Меня Женя зовут, – буднично представилась хозяйка чепрачной овцы.

– Я – Катя.

– Погуляем, что ли? – предложила девчонка.

– Пошли, – с готовностью согласилась Катька.

Женька оказалась хохотушкой. В восторг ее приводило практически все, что она слышала. Дойдя до школьного стадиона, Женька отцепила поводок и скомандовала: «Рена, гулять!» Овца снова подпрыгнула на месте и с недоумением посмотрела на хозяйку: а до этого что было?!

Собака носилась между деревьями, периодически начинала рыть ямы, а девочки крутили ногами барабаны, знаменитые аттракционы советских игровых площадок, отчего раздавался рвущий душу металлический скрежет. Мерзкий звук приводил псину в волнение, она начинала выть, переходя местами на залиvistый лай. Женька сердилась и замахивалась на собаку рукой:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.